

Gavriel Savit

Гавриель Савит

# THE WAY BACK

# ПУТЬ ДОМОЙ

*Перевод с английского*

Галины Гимон и Ольги Бухиной

Ж

{книжки}

МОСКВА  
2024

УДК  
ББК  
С13

**Савит, Гавриэль**

С13 Путь домой / Гавриэль Савит; перевод с английского Галины Гимон и Ольги Бухиной. — М.: Книжники, 2024. — 368 с. — ISBN 978-5-906999-??-?.

аннотация

*Всем моим предкам и потомкам —  
неважно, живым или нет.*

ISBN 978-5-906999-??-?

© Published in the United States by Alfred A. Knopf,  
an imprint of Random House Children's Books,  
a division of Penguin Random House LLC, New York, 2020

© ИД «Книжники», издание на русском языке, оформление, 2024

## Двое из Тупика

Ясным летним днем 1812 года (по гойскому летоисчислению) из материнского дома — лачуги, где она родилась, — вышла девушка и отправилась в дальний лес по ягоды. Там в тенистых местах поспевала земляника.

Это были самые лучшие ягоды — мелкие и нежные, и девушка, согнувшись, собирала землянику, пачкая пальцы и губы красным соком, — одну в рот, одну в фартучек, ягодка за ягодкой.

Сперва девушка подумала, что ей мерещится. Она была далеко от деревни, далеко от дороги, и никто кроме нее не знал про это ягодное место. Никого тут быть не могло.

Но нет, ей не привиделось.

Колонна появилась внезапно, вылетела на поляну, как пуля из мушкета. Стройные ряды солдат — пуговицы и штыки так и сияют на солнце, все больше, все больше людей — юная девушка никогда не видела столько мужчин разом. Следом появились кони и высокие всадники в роскошных мундирах. Мулы, повозки и огромные бронзовые пушки прогрохотали мимо нее прямо по ягодам; подошвы, копыта и колеса с железными ободьями превратили траву в грязное месиво.

Девушка не была дурочкой и спряталась, чтобы не привлекать внимания. Но когда на поляну выехал тот человек, она не удержалась и привстала, чтобы лучше видеть.

Даже в жаркий день на нем был длинный голубой сюртук. Всадник уверенно правил серым жеребцом, прямо-таки сливался с ним. И когда этот человек появился на поляне, стало очевидно: вся колонна — люди, лошади, пушки, канониры — все они лишь его продолжение.

Конечно же, это был великий полководец император Наполеон Бонапарт.

Он пришел завоевать Россию.

Он пришел завоевать весь мир.

Галопом прискакал офицер на пегом коне и тронул императора за локоть, Наполеон повернул голову. И тут он заметил девушку.

Он впился в нее взглядом, она затаила дыхание и плотно сжала губы, чтобы не издать ни звука. Офицер что-то говорил. Император не отводил взгляда. Наконец он отвернулся, взглянул вдаль, ответил офицеру и пришпорил коня.

Вот и все.

Девушка отправилась домой. Солнце садилось позади уходящего войска.

Год шел к концу. Битвы продолжались. Люди гибли. Листья сменили цвет и опали. Наполеон отступал и в свое время был разгромлен.

Вскоре девушка уже стояла под хупой, она сменила имя отца на имя мужа и с этого дня жила в его доме,

убирала за ним, варила ему куриный бульон и каждый вечер поджидала его возвращения.

Но случилось странное. Однажды девушка взглянула в зеркало — оттуда на нее смотрело чужое лицо. Осунувшееся, морщинистое, встревоженное. Сама на себя не похожа. Лишь губы прежние, плотно сжатые.

Тем вечером ее муж не вернулся домой.

Она скоро поняла: он никогда не вернется. И лишь крепче сжала губы.

Не прошло и недели, как женщина, в которую превратилась девушка, взяла своего сына Залмана и ушла из деревни, в которой родилась, туда, где ее никто не знал, где о ней не будут сплетничать, — в крошечное глухое местечко под названием Тупик.

Она сняла чердак над пекарней и отдала мальчика в ученье пекарю.

Пекарь умер, пекарня перешла к Залману.

Она так и осталась на чердаке. Там, словно в коко-не тишины, женщина превращалась в старуху.

Вскоре ее, как самую старшую, стали звать помогать в родах.

Из года в год все мальчики и девочки, что появлялись на свет в Тупике, попадали в ее руки. Но лишь двоих она запомнила надолго.

Первым был тощенький мальчик, родившийся раньше срока. Промозглой ветреной ночью он открыл крошечные глазки, ясные, ярко-голубые, моргнул и уставился прямо на нее. Она уже видела этот взгляд, давным-давно, хоронясь в кустах, — пальцы перепачканы соком, во рту сладко, а в сердце страх.

Через восемь дней, вопреки обыкновению, она пошла в синагогу, чтобы узнать, какое имя дали ребенку. Его назвали Йегуда-Лейб.

Тем же вечером родился ребенок у ее сына Залмана — девочка по имени Блюма, и когда дитя появилось на свет, розовое, кричащее, старуху поначалу охватил неописуемый восторг. Но когда она взгляделась в личико внучки, в ее сердце прокралось иное чувство — смесь вины, жалости и сострадания. Она увидела, словно отражение в щербатом зеркале, свой рот — ту же хмурюю гримаску на сжатых губах.

\*

Суламифь, мать Йегуды-Лейба, проснулась до рассвета и вытащила усталые кости из теплой постели на час раньше разумного времени. Радости никакой, спина болит, но, если хочешь найти поденную работу и раздобыть что-нибудь на ужин, надо поторапливаться.

Тупик простирался перед ней, тихий и молчаливый в предрассветной мгле. Серые, крытые дранкой домишки теснились вдоль грязных улиц, как будто хотели впитать в себя пар от дыхания прохожих, а высокие сосны на краю местечка клонились над крышами, словно стремились рассмотреть, что происходит.

Оттого ли, что холод крепчал, оттого ли, что тяжелые серые тучи затянули небо, но все вокруг отяжелело, пригнулось к земле.

Ждало.

В углу маленькой комнаты сын Суламифи, Йегуда-Лейб, свернулся калачиком, притворяясь спящим.

Угли в очаге едва тлели. Суламифь заглянула в котелок. Полкартофелины. Вся еда в доме. Даже в солонке пусто.

С глубоким вздохом Суламифь выпрямилась, сняла со спинки стула у двери теплый красный шарф и подсунула сыну. Она сама, петелька за петелькой, вязала этот шарф, по ночам разматывая нить покрасневшими от холода пальцами. По правде говоря, тревоги в нем было не меньше, чем шерсти.

— Ты хорошо будешь себя вести? — спросила Суламифь у сына.

— Да, — буркнул Йегуда-Лейб.

Он не открывал глаз, словно хотел уверить мать, что все еще спит.

— Неприятностей не будет?

— От меня никогда не бывает неприятностей, мама.

Суламифь сделала вид, что поверила.

— Конечно...

И уже от двери добавила:

— В котелке полкартошины. Шарф не забудь.

\*

Едва шум шагов Суламифи затих на грязной дорожке, дверь дома снова распахнулась и выпустила на утреннюю улицу ясноглазого мальчика.

Мальчика без красного шарфа.

Шарф кусался. Шарф его душил.

Йегуда-Лейб не выносил принуждения.

Вставало солнце.

Мало какая мать в Тупике, глядя на Йегуду-Лейба, не испытывала желания оградить своего ребенка от его влияния. Дурная слава — не сказать чтобы безосновательная — окружала мальчика, словно рой мух. Имя Йегуды-Лейба редко упоминалось в синагоге или на рыночной площади без тяжелого вздоха: вечно он носится, куда-то лезет, дерется... А если говоривший, быстро взглянув через плечо, убеждался, что ни мальчика, ни его матери рядом нет, за вздохом зачастую следовала реплика: и неудивительно, вспомните его отца.

Все знали: Йегуда-Лейб творит что хочет, и притом с ощутимыми последствиями, но в местечке почти никто (а может, и вовсе никто) не мог оценить его возможностей.

Мало что могло укрыться от его зорких голубых глаз.

Вот и сегодня утром Йегуда-Лейб не собирался терять время даром, нежась в кровати, раз мать уже ушла. По тому, как горит свет в любом доме, он мог определить, кто уже наверняка проснулся, кто идет на утреннюю молитву в синагогу, а кто на рынок. Он не только знал, в чьих кухнях и кладовых сейчас никого нет, но и быстро соображал, как пробраться туда незаметно, а значит, избежать наказания за свои проделки.

Йегуда-Лейб предпочитал брать немного, чтобы не заметили: мать явно не одобрила бы этих походов за добычей, да и репутация его была всем известна, так что стоило избегать лишнего внимания.

Хорошее ли это дело? Нет. Но чем больше у них будет молока, муки и соли, тем спокойнее мама будет спать по ночам.

Кроме того, как всем известно, мальчик не может расти на половине картофелины в день. Даже обычный мальчик. А Йегуда-Лейб не был обычным мальчиком.

Тем утром Йегуда-Лейб ухитрился выбрать подходящее время для своего скромного промысла, и, когда он вылез из чужого окна на втором этаже и направил свои стопы к синагоге, карманы его изношенного черного пальтишка оттягивали добытые в нескольких домах объедки: шматок сыра, корка хлеба и надкусанное яблоко. Даже в рукавицах кое-что было — соль, чтобы пополнить истощившиеся дома запасы.

Пусть он воришка и безобразник, пусть от него одни неприятности, но никто другой в Тупике не видел вещи так ясно.

\*

У Йегуды-Лейба вошло в привычку каждое утро незадолго до конца утренней службы устраиваться на ступеньках хедера — как раз напротив входа в синагогу.

Обычно прихожане задерживались на пороге, судача и сплетничая, и, если он надвигал козырек картуза поглубже на ясные зоркие глаза и вжимался в стену в углу у перил, они болтали свободно: у кого сегодня какое дело, кто собирается в поездку, кто слез в постель. Эти утренние разговоры были необходимы Йегуде-Лейбу, и он пристраивался на своем месте заранее, чтобы на него не обращали внимания.

Вот почему его так поразило, что сегодня он оказался в центре внимания.

Все началось как обычно, гул молитв в синагоге постепенно стихал и наконец сошел на нет. Двери

распахнулись, и самые работающие из прихожан прошлепали за порог, чтобы приняться за утренние труды, оставив бездельников слушать долговязого Янкеля, бродячего торговца и сплетника, вчера поздно вечером воротившегося из Жабинска.

Жабинск — ближайший к Тупику почти что настоящий город — располагался на краю обширного леса, посреди которого и стоял Тупик. От Тупика до Жабинска можно было добраться меньше чем за день, и то если по дороге не случится неожиданностей. Но, как известно, без неожиданностей никогда не обходится. То ось у телеги сломается, то осел захромает, то с дороги собьешься.

Бабушки в Тупике могли часами рассказывать о зловонных лесных духах: они прячутся в густых ветвях и прыгают путнику на голову, едва он остановится глотнуть воды; они сбивают людей с пути обманчивыми кострами и запахом жарящегося мяса; а если уж ты настолько глуп, чтобы вздремнуть в лесу, они залезут тебе в ухо и будут высасывать из головы твои мысли, твои воспоминания, саму твою сущность, пока не останется одна пустая оболочка.

В лесу никто не может чувствовать себя в безопасности.

Люди вроде Янкеля, зарабатывающие на жизнь перевозкой товаров из Тупика в Жабинск и обратно, знали толк в колдовстве и защите от него. Однажды Йегуда-Лейб видел, как Янкель демонстрировал весь свой арсенал: кусок железа на дне тяжелого мешка, выцветшую красную шерстяную нитку вокруг запястья, амулеты — маленькие, туго свернутые квадратики

пергамента со словами-оберегами, которые он рассказывал по всем карманам.

Сегодня, выйдя из синагоги, Янкель показывал свой новый талисман — черствый ломоть хлеба с отъеденным уголком. Кто-то спросил, с какой стати кусок хлеба может отпугивать нечистую силу, и Янкель суеверно сплюнул через плечо.

— Это не простой кусок хлеба, — заявил он, назидательно подняв палец. — Это хлеб, который надкусил праведный Ребе из Жабинска.

Раздался хор одобрительных возгласов. Мрачных историй о духах было не счесть, но историй о Ребе, о его мудрости и творимых им чудесах рассказывалось не меньше. Говорили, что Ребе видит человека насквозь и способен избавить сердце от скорби, как от гнилого яблока.

— А как идут приготовления к свадьбе, Янкель? — спросил кто-то из кучки сплетников.

— Весь город на ушах стоит. Словно новый праздничный день объявили!

Жабинский Ребе выдавал замуж свою младшую, пятую внучку. Свадьба должна была состояться через два дня, как раз перед Ханукой. Намечалось грандиозное празднование, уже несколько недель ходили слухи: прибыло столько-то повозок с отборной едой, а музыкантов вдвое больше, платье невесте шили специально для нее в Киеве, а известного бадхена семья жениха привезла из самой Вильны.

Но самое главное — приглашены все. Все без исключения.

Незачем говорить, насколько это было заманчиво — и для тех, кого привлекал праведный Ребе, и для тех, кого больше интересовала веселая пирушка.

Неожиданно Янкель прервал перечисление прибывающих гостей.

— Никогда не догадаетесь, кого я встретил в шинке! Авимелеха! Авимелеха, представляете! Никогда бы не подумал...

Что именно не подумал бы Янкель, осталось неизвестным, потому что в этот момент заговорил раввин.

— Янкель, — мягко сказал он, и болтовню отрезало как ножом.

Все головы повернулись к стоящему в дверях раввину.

— Что такое? — спросил Янкель.

Раввин покачал головой, словно веля ему замолчать, и показал туда, где сидел Йегуда-Лейб.

И все посмотрели в ту сторону.

У Йегуды-Лейба запылали щеки. Все смотрели на него.

Почему все на него смотрят?

— Что? — спросил Йегуда-Лейб. И, не дождав-шись ответа, повторил: — Что?

И тут, к счастью, заговорил суровый и набожный мясник Моше-Давид Фрумкин:

— Янкель, ты раздобыл мне новую шапку?

— Да, — отвечал тот, — конечно.

Он отступил назад, достал объемистый мешок и вытащил большую круглую коробку. В коробке оказалась шапка, о которой шла речь: богатый меховой

штраймл, гладкий, волосок к волоску, блестящий, для особых случаев.

Кружок сплетников распался: одни подошли поближе полюбоваться на шапку, другие отошли и сменили тему, третьи отправились по своим делам. Только Йегуда-Лейб остался сидеть как приклеенный. У него колотилось сердце. Не любил он, когда на него так смотрят. Ему часто вменяли в вину сломанные или пропавшие вещи, но обычно лишь подозревали, а не ловили с поличным.

Чего сейчас-то уставились? Что знают все, кроме него? Утро явно не задалось. Вот почему Йегуда-Лейб злился на Иссура Фрумкина — даже сильнее, чем обычно.

Иссур был сыном мясника Моше-Давида Фрумкина и ровесником Йегуды-Лейба. Больше в Тупике не было мальчиков их возраста. Неизбежно напрашивалось сравнение, и не в пользу Йегуды-Лейба. Йегуда-Лейб был маленький и щуплый, а Иссур — высокий и широкоплечий. Йегуда-Лейб был бедным оборванцем, он вечно попадал в неприятности, а Иссур и здесь был его противоположностью. Иссур рос в зажиточной семье, и его редко загружали работой; он мог сколько угодно сидеть в хедере и читать священные книги, тогда как у Йегуды-Лейба все время уходило на то, чтобы раздобыть еду.

Но Йегуда-Лейб не завидовал ни богатству, ни положению Иссура. Дело было в другом.

У Иссура был отец, а у него не было.

Хуже того, Иссур был двуличным. В присутствии отца он вел себя почтительно и скромно — живое

воплощение ожиданий реба Фрумкина. К Йегуде-Лейбу же он поворачивался совсем другой стороной. В отсутствие взрослых, прежде всего родителей, он вечно командовал, насмешничал, задавался.

Вот и сейчас Иссур стоял в дверях синагоги и превеличенно благоговейно примерял новую отцовскую шапку. Конечно же, она была ему велика, сползала на глаза, и вид у него был еще более дурацкий, чем обычно. Тем не менее отец Иссура ласково положил ему руку на плечо, словно все, что делал сын, достойно одобрения.

Никто никогда так не прикасался к Йегуде-Лейбу.

Иссур попросил разрешения взять шапку с собой в хедер.

— Только осторожно, — добродушно ответил отец, — шапка новая и дорогая.

У Йегуды-Лейба в груди разгорался пожар.

Он оглянулся — почти все уже разошлись: Моше-Давид — в свою лавку, раввин — домой, завтракать. Иссур переходил дорогу и шел навстречу Йегуде-Лейбу. Его ноги месили грязь, вполне подходящую грязь.

Это было нехорошо, более того, неразумно, но Йегуда-Лейб не мог позволить Иссуру Фрумкину спокойно пройти. Пошарив в карманах в поисках чего-нибудь съестного, он встал в дверях и загородил Иссуру дорогу.

— Эй, подвинься! — велел Иссур, поднявшись на верхнюю ступеньку.

Йегуда-Лейб не отозвался. Низко надвинув на глаза картуз, он усердно жевал засохший сыр.

— Эй! Ты же не глухой! — прикрикнул Иссур. — Дай пройти, придурок!



Йегуда-Лейб вздохнул и подвинулся, но вместо того, чтобы освободить проход, еще больше загородил дверь.

— Думаешь, это смешно? — разозлился Иссур.

Йегуда-Лейб поднял глаза и улыбнулся с набитым ртом.

— Не дури, дай пройти.

Йегуда-Лейб не пошевелился.

— А если у человека важное дело? — возмутился Иссур. — А ну с дороги, ублюдок!

Вполне возможно, Иссур ничего такого не имел в виду и понятия не имел, на что себя обрекает, но это слово, сказанное именно э т и м утром, прожгло Йегуду-Лейба насквозь.

Ему уже на все было наплевать. Он спокойно отбросил недоеденный огрызок сыра, отошел от двери и, проходя мимо Иссура, сшиб с того замечательную новую шапку Моше-Давида, отправив ее в полет, а потом яростно втоптал в уличную грязь.

Иссур оцепенел.

Йегуда-Лейб повернулся к нему и с улыбкой спросил:

— Нравится?

Вот так началась драка.

\*

Пекарь реб Залман жил неподалеку от леса. По дороге из Жабинска сперва нужно было миновать маленькое кладбище на склоне холма, а потом уже сворачивать к его дому. И лучше не оборачиваться на покосившиеся надгробия, не то возникнет жутковатое

ощущение, будто несешь кладбище с собой. По этой ли или по какой иной причине, пекарь оставлял у двери таз и ковшик для омовения рук.

Первый этаж дома пекаря почти полностью занимало все необходимое для его ремесла: мешки с мукой, большие деревянные столы, внушительная глиняная печь — ее разжигали каждое утро, и не успевало солнце встать и разогреться, как она уже раскалялась до немыслимой температуры. Корзины с булками, рогаликами, а по пятницам еще и блестящими румяными халами теснились на полу возле двери.

Тот, кто хотел поговорить с Залманом, неизменно заставал его тут; казалось, пекарь старается до вечера полностью обсыпать мукой свою скромную черную одежду.

Жизнь женщин дома проходила преимущественно на втором, более тесном этаже. Жена Залмана Фейгуш настояла, чтобы вторая кухня была здесь, подальше от чужих глаз, а это требовало больше беготни: воду и все прочее приходилось носить наверх по неровным деревянным ступенькам.

Эта беготня по большей части выпадала на долю дочери Залмана Блюмы.

Блюму все считали славной девочкой — милой, доброй, отзывчивой. У нее был только один недостаток — слишком уж она любила неуловимый промежуток между сном и явью, когда веки тяжелы, под одеялом тепло и уютно, а мир ограничен толстым оконным стеклом. Она редко вставала до полудня, а когда спускалась наконец вниз, отец ей подмигивал, улыбался и даже частенько баловал сладкой булочкой.

Проводя так много времени в постели, Блюма лучше всех в семье знала, что подельывает бабушка на своем третьем этаже.

Впрочем, этажом его и не назовешь; по правде говоря, это был просто узкий чердак под скошенной крышей, где и обитала бабушка Блюмы со своей беззубой, но злобной серой кошкой. Да и чердак — слишком громко сказано: места тут едва хватало для кровати, стола, стула, старушки и кошки. Единственный свободный кусочек пола располагался как раз над Блюминой кроватью.

Поэтому Блюма легко распознавала все доносящиеся с потолка звуки: вот бабушка ворочается утром в постели, вот кошка прыгает с подушки на подоконник, вот шаркают старческие ноги по половицам, вот со скрипом выдвигается из-за стола стул.

Этим утром наверху царила мертвая тишина.

\*

— Папа, — позвала Блюма.

Залман перестал месить тесто и улыбнулся дочке.

— С добрым утром!

— Бубеле уже встала?

Залман покачал головой и вернулся к тесту.

— Она, видно, еще наверху.

— Ее совсем не слышно.

Блюмина бабушка была в высшей степени постоянна в своих привычках. Утром она непременно спускалась с чердака, чтобы прихватить кусок хлеба и чашку воды, потом, не говоря никому ни слова, ковыляла обратно на чердак.

Так было всегда, сколько Блюма себя помнила.

— Надеюсь, она не заболела, — сказал Залман, не отрываясь от тяжелой работы. — Отнеси ей молока и пару рогаликов, ей будет приятно.

Как правило, бабушка ни на кого внимания не обращала. Ела она самую малость, по собственному расписанию и обычно в своей комнате. Раз в неделю, по пятницам, она спускалась вниз, чтобы сварить куриный бульон, и когда все садились за стол, вполголоса желала сыну и внучке хорошей субботы. С матерью Блюмы она не разговаривала никогда.

Блюма подошла к бабушкиной двери и тихонько постучалась, потом еще раз.

— Бубеле?

Когда-то Блюме нравилось сидеть с книжкой на крошечной площадке напротив бабушкиной двери — хоть нельзя сказать, что это вошло у нее в привычку. Но однажды, когда девочка устроилась на площадке, бабушкина дверь открылась. Блюма ожидала, что ее немедленно шуганут, но бабушка лишь внимательно посмотрела на внучку. А потом, оставив дверь приоткрытой, занялась своими делами.

Они так и вели параллельное существование: Блюма приносила подушку и читала снаружи, а бабушка шила или прибиралась внутри. Часто бабушка садилась напротив висевшего на стене овального зеркала и молча неодобрительно разглядывала свое отражение.

А однажды дверь распахнулась настежь — и сразу же захлопнулась. Блюма отошла в уборную, а когда вернулась, ее подушка перекечевала обратно на кровать, такие вот дела.

Тем не менее Блюма не сомневалась: они с бабушкой видят то, что больше никто в доме не замечает. И была права.

Она снова постучалась — раз, другой.  
— Бубеле!

Молчание.

Скрипучая дверь открывалась внутрь, и, толкая ее, Блюма была уверена, что бабушка ждет за дверью.

Но в комнате никого не было. Бабушка пропала.

\*

Небо хмурилось, и Йегуда-Лейб мечтал, что хлынет дождь и станет полегче.

Губа у него была разбита. Иссур, несмотря на внушительное сложение, совсем не умел драться, он нанес Йегуде-Лейбу лишь один хороший удар, но, как назло, попал кулаком прямо по губе, и губа немедленно вздулась.

Йегуде-Лейбу хватило ума не задерживаться после того, как их растащили. Неважно, кто зачинщик, если один из драчунов — Иссур Фрумкин, «Божий дар Тупику», а другой — грязный воришка и безотцовщина, так что Йегуда-Лейб предпочел улизнуть по крышам. Здесь, наверху, он не бросался в глаза, некому было желать ему зла.

Время текло медленно. Ноги и копыта внизу местили уличную грязь. Разгорался и гас огонь в печах. Серое небо постепенно темнело.

Время шло к вечерней молитве.

До чего же стыдно! Он ведь обещал маме не ввязываться в неприятности.

Но что ему оставалось делать? О нем много чего можно сказать, но вот ублюдком он не был. Это Йегуда-Лейб знал точно.

Он помнил отца, хотя мама говорила, что это невозможно.

Воспоминание было теплым, даже жарким, и пахло воском, деревом, шерстью и потом. Чудесное воспоминание.

Он совсем еще малыш, и отец держит его на руках. Наверно, это Йом Кипур, самый важный день в году, потому что все вокруг одеты в белое. На отце поверх белого одеяния — талес. Йегуда-Лейб помнил, как он смотрит вверх, на потолок синагоги, расписанный виноградными лозами и фиговыми пальмами, орлами, львами и единорогами, красными и синими, рыжими и белыми; как отец показывает вперед, а там кто-то протрубил в рог, и все громко стали молиться; как он поднимает глаза на отца и зажимает в пухлом кулачке кончик отцовской бороды, и отец улыбается, а по щекам у него текут слезы...

Вот и все, что он помнил.

Порой Йегуда-Лейб думал — эти воспоминания священны для него из-за синагоги, а порой — что синагога так важна для него из-за этих воспоминаний.

Он отдал бы все, лишь бы снова увидеть отца. Правый глаз бы отдал.

Но это невозможно. Сколько он ни спрашивал мать, ответ был один: отец умер. Потом она день-два казалась еще печальнее, чем обычно.

В конце концов Йегуда-Лейб перестал спрашивать. Но он не мог перестать думать.

— Рабби!

Йегуда-Лейб мгновенно распластался на скате крыши. Он узнал голос: это был Моше-Давид Фрумкин. Вот уж кого Йегуде-Лейбу не хотелось видеть — отца Иссура, мясника, человека, для которого было обычным делом ходить в окровавленной одежде.

— Рабби! — снова позвал Моше-Давид, и Йегуда-Лейб услышал в ответ мягкий, бархатистый голос раввина.

— Моше-Давид? Чем могу помочь?

Моше-Давид Фрумкин испустил тяжелый вздох.

Йегуда-Лейб изогнулся, чтобы разглядеть двух беседующих внизу мужчин.

— Вы, конечно, слышали? — спросил Моше-Давид.

— О драке?

— Скорее, о нападении, — усмехнулся Моше-Давид. — Иссур рассказал, что этот мальчишка, как дикий зверь, выпрыгнул словно ниоткуда. Моя новая шапка погублена, у сына сломан нос.

Йегуда-Лейб поежился от такого предвзятого рассказа, и все же он был доволен, что смог расквасить Иссуру нос.

— Печально это слышать, Моше-Давид, — сказал раввин.

— Вас многое печалит, — заметил Фрумкин.

— Да, все так. Вы правы.

Мясник придвинулся ближе.

— Ситуация не улучшается, рабби. Что-то надо делать.

Раввин кивнул.

— Что вы предлагаете?

— Я поговорил с Янкелем об Авимелехе.

Авимелех! Снова это имя!

За всеми переживаниями Йегуда-Лейб почти о нем позабыл.

— Он сказал, что Авимелех снова проигрался и весь в долгах. Он не сегодня-завтра собирается заявиться в Тупик — перед свадьбой внучки Ребе. Говорит, что может заработать приличные деньги, найдя рекрутов в царскую армию. Ничего страшного не случится, если мы отдадим мальчишку в его руки.

Раввин дернул себя за бороду и неторопливо заметил:

— Пожалуй, что и случится.

Моше-Давид снова громко вздохнул. И без слов было ясно, что он по этому поводу думает.

— Сколько можно его защищать?

— Сколько нужно.

— Все равно это вопрос времени, — проворчал Фрумкин. — Это у него в крови.

— О чем вы?

— Сами знаете, о чем. Давайте сплавим мальчишку Авимелеху, рабби.

Раввин в свою очередь вздохнул.

— Полагаю, вам стоит заняться собственными делами. Я слышал, это в аш звереныш напал первым. Хорошего вам вечера, Моше-Давид.

Йегуда-Лейб ухмыльнулся.

Наконец хоть кто-то на его стороне.

Но что-то продолжало его беспокоить.

*Сплавим мальчишку Авимелеху.*

Стемнело. Пора бы и домой.